

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин

Летом 1982 года дела привели меня на несколько дней в Пензу. Жил я там в гостинице на берегу Суры. Однажды, под вечер, понадобилось мне разменять деньги для телефона-автомата. Спустился я к газетному киоску. Приличия ради решил купить какой-нибудь журнал. Почему-то я выбрал «Смену», которую никогда не читаю. И выбрал именно этот номер. Повезло. Ничего не выигрываю, ни в спортлото, ни по займам. Счастливый случай меня обходит. Все достается с трудом. А тут повезло, и крупно: вечером, когда стал перелистывать журнал, нашел в нем «Европейский дневник» Паустовского. В дневнике – про меня. Старые записи о нашем давнем путешествии вокруг Европы на теплоходе. Оказывается, Паустовский всю дорогу вел записи, краткие, сжатые до предела: обозначения событий, упоминания о разговорах, почти не расшифрованные. Спустя четверть века Галина Арбузова опубликовала их. Даже сквозь эти – наспех сделанные, рабочие, чисто служебные, для себя – записи рука художника, его глаз, его стиль ощущаются. Что отделанная повесть, что черновик – оба пишутся одним и тем же почерком. Здесь почерк, может, даже проступает лучше, натуральнее:
«На улице, на парапете, где растет какое-то сочное зеленое растение с большими волнистыми лапами, как у портулака. Оранжад. Жара. Значки рабочим и мороженщику. „Иса крем!“ Полицейский выпрашивал у мороженщика значок».
«По склонам Этны бьют фонтаны дымков. Апельсиновые сады. Невероятная голубизна, отвесный берег в плуще, крепости – ноздреватые, старинные, губки в воде. Дельфины».

Много записей – односложных, малопонятных и вовсе не понятных постороннему читателю. Для меня же они как нажатые кнопки – вспыхивают, освещаются полузабытые сцены, картины, краски. Что-то всплывает, не сразу, из глубины памяти, а что-то и не может уже всплыть, отзывается каким-то слабым колыханием, а всплыть не может.

Чужой дневник. В нем все чуть иначе. Краски чересчур яркие, тени гуще, свет падает слишком красиво. В Стамбуле Паустовский увидел джип с полицейскими, у меня же остались – дивной красоты турчанки. Нигде не встречал столько красивых женщин, как в Стамбуле.

Собственные воспоминания о той поездке задвигались, ожили. Они обретали новое измерение. Через Паустовского я узнавал себя, он записывал меня, что я делал, что я говорил. Я сравнивал его записи и свои воспоминания, разницу нашего видения, вкусов и влечений.

Я видел себя самого, в молочного цвета туфлях, которые мне одолжил Серега Орлов, и самого Серегу с рыжими лохмами, и Расула, черноволосого и почти стройного, изумленного... Я разглядывал свои воспоминания, как педагог рассматривает этюд ученика. Поправить надо здесь и там, я видел ошибки восторга, преувеличения, наши последующие судьбы, неоправданные надежды, которые не сбылись... Боже, как давно это было!

За окном затихала вечерняя Пенза, по ее зеленым крышам косо скользило закатное солнце. Мешанина многоэтажек и деревянных домов, укутанных в овечью зелень садов. Впервые я попал в этот чистый старый город, знакомых у меня тут почти не было, редкое состояние покоя, полного покоя, без ожиданий и обязательств, пришло, как штиль.

В другой вечер дневники Паустовского, может, и не затронули бы души столь глубоко, проскользнули бы по касательной.

Рейс начинался с Одессы. Мы приехали в Одессу. Паустовский показал мне свою Одессу. Корабль стоял в порту, теплоход «Победа», огромный океанский лайнер, – он загружался, догружался, оформлялся, а мы бродили по городу. Дворы, завешанные бельем, лавочки, подъезды, где сидели старики и старухи и торговали длинными самодельными конфетами, пирогами, тапочками, яблоками. Дом, где когда-то помещалась газета «Моряк». Там Паустовский работал. Он изображал, как мальчишки-газетчики кричали: «Мрак»! Газета «Мрак»!»
Крикливый Привоз, неслышанной красоты и мощи базары, одесский говор, одесский юмор, кому это, как говорится, мешало? В то лето 1956 года Паустовский еще мог

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
показать свою Одессу, еще на рынке тощий инвалид в тельняшке мог заставить купить велосипедный звонок, на который все будут заглядываться! Через двадцать лет, когда я захотел показать эту Одессу своим друзьям, я ее не нашел. Ее уже не было. С непонятной старательностью ее выскоблили, всю одесскость, одессизм, ее говор, ее шутки, ее обычаи... Ревнителю однообразия, они терпеть не могли одесскую литературу, давшую Ильфа, Петрова, Багрицкого, Бабеля, Катаева. Причислили к ним и Паустовского. Южнорусская школа в устах этих критиков стала чем-то подозрительным, чужеземным. Паустовский любил Одессу и никогда не скрывал этого, не отрекался от нее, хотя и не был одесситом. За это ему доставалось, и немало.

Итак, летом 1976 года, вспоминая покойного Паустовского, я бродил по Одессе, и это была другая Одесса. Было жарко. Я спустился к причалу, где когда-то стояла «Победа». Набережная и лестница смотрелись отсюда так же красиво, все стало чище, портовые краны выглядели внушительнее, цветов стало больше. Дома были свежеекрашены, играли фонтаны, в киосках открыто продавали жевательную резинку. Но прежней Одессы не стало. Имелся красивый морской город, областной центр, почему-то знаменитый, а почему – неизвестно. Люди говорили с чуть заметным южным акцентом, но примерно так же, как в Николаеве и Херсоне, и надписи всюду были правильные, никаких вольностей, и шутили так же, как всюду. Наконец-то добились, чтобы этот город стал как все другие города.

Мальчишки-газетчики Паустовского превратились в пожилых стариков, они сидели в застекленных киосках, продавали «Огонек», «Польшу» и зубную пасту.

Не помню, как я познакомился с Паустовским. Это было до поездки. Наверное, это не отпечталось потому, что я знал его раньше, много раньше, чем увидел. В школе я зачитывался его книгами «Блистающие облака» и «Романтики». Барочная пышность языка и сладостный ритм фраз завораживали меня. Герои разговаривали так, что щемило сердце. От его описаний деревьев, облака, женщины, пение птиц, шелест страниц чувствовались свежее, становились загадочнее.

«Артур Рембо любил писать при краденой свече на полях книги со скабресными стихами в тесной каюте. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре. Уайльд любил сверкающие лампы и камин, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице в туманный и весенний лондонский день». Сейчас я пожимаю плечами, а в юности что-то слышал, и откликалось.

«Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, и вся страна стоит как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью».

Война у него была такой же нестерпимо красивой:

«От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, металась женщины, на вокзале тревожно кричали паровозы, по белым карнизам зданий бегал красный свет факелов».

Автору было двадцать четыре года. Теперь так не пишут. Чтобы так писать, нужны чувствительность и неутомимое удивление перед таинством происходящего.

Жаль, что магия этих фраз для меня улетучилась, не действует так же, как не волнует уже шум танцплощадки, прикосновение женской руки... Красивость, пышность – слова из нынешних моих понятий. А собственно, какое право я имею считать, что вкус мой стал лучше, совершеннее? У меня нынче просто другой вкус, потому что я другой. Тому, семнадцатилетнему, нужны были Гюго, Грин, Светлов, Багрицкий, Тихонов, в них нуждалась душа. Так в детстве организм для роста требует кальция. Так больше всего хотелось мороженого и лимонада.

В «Романтиках» есть глава «Ночная встреча». Я знал ее наизусть. Я сказал об этом Паустовскому. Он хмыкнул: «Не вздумайте произносить ее вслух; это, наверно, приторно, как сахарин». Я никогда не перечитывал «Романтиков». Зачем? Зачем обесценивать те часы счастья и мечтаний, какие получил от этой книги в юности?

Паустовский совмещался со своими книгами легко, но неполно. В Одессе и потом на «Победе» открылось искусство устных его рассказов. Они были несхожи с его письменными. Два разных рассказчика. В устных начисто отсутствовала приподнятость. Когда он рассказывал хрипловатым своим, надтреснутым голосом, кругом улыбались, посмеивались. В палубных его рассказах царил юмор, которого почти не было в книгах. Десятки смешных историй об Аркадии Гайдаре, о Фраермане,

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Багрицком, Бабеле и Булгакове. Законченные новеллы, вроде старинных итальянских «фацетий». Записать их трудно, смешное исчезает, но все равно следовало записать их, я подозревал, что сам Константин Георгиевич их не записывает. Так и оказалось. Думал, что неудобно, даже бестактно записывать рассказы писателя. Все равно что заниматься плагиатом. Большая часть этих рассказов пропала. Мешало, что кроме меня кругом сидели и слушали Константина Георгиевича другие писатели. Они запишут. Другие запишут – это всегда успокаивало, избавляло от необходимости самому... И так всю дорогу. Хотелось жить, не хотелось отрываться от жизни хотя бы полчаса, чтобы записать прожитое. Один рассказ я почему-то запомнил лучше других. Как Аркадий Гайдар остановился в Москве перед гербом какого-то посольства, долго рассматривал его, потом стал допытываться у дежурного милиционера, что это за страна, чей герб. Милиционеру любопытство это показалось подозрительным, и, так как Гайдар настаивал, приехала машина и его забрали куда следует. Там долго выясняли его личность. Наконец выпустили. Но он не желал уходить, пока ему не скажут, что это за посольство.

Сам Паустовский не смеялся, а посмеивался, тихо, отстраненно, и над собою, и над Гайдаром, и отчасти над нами. Слушать его истории было захватывающе интересно, они отличались сюжетом и домашностью, уютом, рассчитанным на пять, шесть человек, не больше. В его юморе не было желчи. Это был юмор человека, умеющего видеть и отбирать смешное «из жизни». В его книгах этого мало, может, потому, что стиль открытого романтика отторгает хитрый, прищуренный смехок, это добродушное подтрунивание и откровенное веселье. Хотя обобщать не следует, рискованно обобщать, когда речь идет о настоящем писателе, он обязательно вылезет из правил. Сразу же вспомнился крохотный рассказик Паустовского «Случай с Диккенсом», «о прилипчивом писателе Диккенсе», рассказик, который весь состоит из маленьких и больших улыбок.

Сладостный озноб, лихорадка нашего отплытия, тающая вдали белая Одесса, первый наш выход в мир на огромном лайнере, первый раз в руках заграничный паспорт, первые огни чужих маяков, ветер дальних земель... Впервые для нас, но к этой первости добавлялась еще всеобщая первость: таких круизов еще не было, первый рейс советских туристов вокруг Европы.

Паустовский не уходил с палубы. Болгария, шторм, вход в Босфор, Дарданеллы, Лесбос, желтеющий нагими каменными обрывами, серая земля масличных рощ, путаница и теснота рей, бронзово-зеленые пушки среди коричневых скал – все, все волновало его, приводило в восторг и трепет. Он бывал здесь не раз, давно, рассматривая в старых книгах эти берега, читая о них в лощах, и вот наконец все это задвигалось, поплыло за бортом теплохода: косые паруса фелюг, раскрашенные прихотливыми красками крепостные стены... Он простаивал дневную вахту, прихватывал ночную, переставая всех нас. Мы – это поэт Сергей Орлов, писатели Леонид Николаевич Рахманов и Елена Иосифовна Катерли, критик Сергей Львович Цимбал, режиссер и художник Николай Павлович Акимов, и с нами, ленинградцами, был Расул Гамзатов. В том или ином сочетании мы стояли рядом с Паустовским. Теплоход имел несколько палуб, множество закоулков, глухих местечек между шлюпками, лебедками, но мы повсюду находили Паустовского и становились рядом. С ним больше можно было увидеть. От него исходил ненасытный интерес, от Паустовского мы заряжались. Молодой наш крепкий эгоизм ни с чем не желал считаться. Паустовский сам был виноват, он не умел отказывать в общении. Другие большие писатели, те бывают заняты своими мыслями, недоступны, погружены... Позже я бывал с Паустовским в Дубултах, в Доме творчества. Вечерами мы собирались у него в шведском домике у камина. Но и днем Паустовский принимал приглашение погулять, посидеть, поболтать. Казалось, ему нечего делать. Как-то я спросил его, почему он неплотно притворяет дверь к себе в комнату. Он виновато усмехнулся: «А может, кто зайдет?» Прекрасное настроение беспечности и незанятости окружало его... Между тем за месяц пребывания в Дубултах он написал больше, чем все мы: Юра Казаков, Эм. Миндлин, я, хотя мы сэкономили каждый час и работали в полную силу.

На теплоходе Паустовский, устав, чаще всего сидел в шезлонге, дремал, не уходя с палубы. Каюта ему досталась плохая. Он пишет: «Каюта второго класса. Теснота. Койка как шкаф». Каюта его помещалась над машинным отделением, в ней все дрожало, позвякивало, гудело. Мы не знали, кто, как распределял каюты и классы. Нам-то с Сергеем Орловым было все равно где спать, мы могли уснуть хоть на самой турбине. Вскоре мы и устроились на палубе, ложились там вповалку на брезенте под зелеными звездами южного неба. А вот за Константина Георгиевича было обидно. В своей каюте он не высыпался, мы боялись, что путешествие для него будет испорчено. Сам он ничего не предпринимал. Он был из тех людей, которые могут

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru хлопотать лишь за других. Меня отрядили пойти к начальнику круиза. Что такое круиз, я не знал, и никто не знал и до сих пор не знает. Но начальника круиза я знал, хотя он показывался на люди редко и его мало кто видел. Он значился больше в разговорах, чем наяву, как всякий большой начальник. На теплоходе ехало четыреста пятьдесят туристов, мы были в открытом море, за границей, и он был всем – и властью, и законом, и судом, и высшей инстанцией. Над ним была только радиомачта. Это был красивый мужчина с презрительно-благодушной миной и пресыщенно-усталым голосом. Выслушав мою просьбу, он плавно изогнул шею, осмотрел меня сверху донизу, до моих молочных туфель: «Мне надо перевести первого замминистра в другую каюту, для жены зампреда нужен люкс, и сын ее тоже нуждается, а вы тут с Паустовским. Машинное отделение? Ничего страшного. Пусть выпьет на ночь коньячку. Писатели ведь принимают, а?» – и он лениво подмигнул мне. В тот круиз отправилось много важных людей. Например, один такой влиятельный деятель, все его знали, фамилия его постоянно упоминалась в газетах. Теперь он стал бывшим и с ним можно было постоять у борта и поговорить. Просто так. Он был без телефонов и без референтов и сам искал собеседников. Но вскоре оказалось, что говорить с ним не о чем. Он был скучный, всем недовольный. Когда я восхитился неистойвой синевой Эгейского моря, он хмуро заметил, что наше Черное море синее. С нами ехала известная певица, ехали Тарапунька и Штепсель, Родион Щедрин, много милых, заслуженно известных людей, так что Паустовского сперва не замечали. Он умел быть незаметным, это его устраивало. В Стамбуле нас встречали репортеры, вот тогда многие обратили внимание, что фотографируют не их, а маленького морщинистого человека. «Паустовский!» – заговорили на корабле. В Греции интерес прессы к Паустовскому продолжался, в Неаполе его встречали с цветами. Это удивляло и раздражало некоторых. Начальник круиза забеспокоился. Он сказал мне укоризненно: «Что же вы не предупредили меня, что Паустовский известный писатель?» Тут же он перевел его в хорошую каюту. «Мы должны считаться с мнением иностранцев», – объяснил он. С нашим мнением он никогда не считался. Катерли, женщина крутая, резкая, прямо спросила его об этом. Он лениво изогнул брови: «Ваше мнение? Так оно же при вас и останется».

Неаполь. «Нарядность и уют улиц, которые как будто видел во сне», – записал Паустовский. А до этого: «Сказочный разворот Мессинского залива. Этна – огромный поднебесный вулкан. Синева». «Голубой небесный дым и тихое золото облаков. Древние страны человеческой мечты.. Волнение до слез».

Невозможно перевести на бумагу прелесть тех картин, пряный воздух, тепло, чувства, что нахлынули на нас. «Волнение до слез» – это было внутри у каждого: и у Расула, и у Сережи Орлова, – но острее всех чувствовал Паустовский; нам не хватало выстраданности этого путешествия, долголетнего ожидания. Ныне, спустя десятилетия, я шарю в своей душе, разыскивая, что же осталось от той красоты, от того замиранья, когда чужие миры впервые распахнулись перед нами. Вроде бы ничего не осталось. Если бы не дневник в журнале, я бы и не вспомнил то путешествие. Столько было после него поездок, столько стран, городов, что то, первовиденное, потеряло цену. Но вот дневник.. Не потому ли так взволновал он, что путешествие наше нежданно-негаданно стало историей?.. Нет, ничего там не случилось, все дело в том, что читается он как документ о другой эпохе, из минувшей жизни, с малопонятными ныне чувствами.

О нашем путешествии на «Победу» я никогда не писал. Оно осталось для себя, ушло внутрь, растворилось. Растворилось – и что? Что же от него осталось? Читая дневник, я вспоминал происхождение некоторых своих привычек, уроки, воспринятые от Паустовского. Так вспомнилось то, что произошло в Афинах.

У нас выпало несколько свободных часов после осмотра Акрополя, после музея, после обеда с концертом, с послем и тостами. Свободное от программы время. Главное – свободное от толпы своих, от пояснений гида, вопросов, команд старост групп. Это были блаженные, святые, самые драгоценнейшие часы, когда мы могли чувствовать себя путешественниками. Затеряться чужестранцем в иностранной толпе. Неизвестная площадь за углом. Холодок страха – ты один, далеко на чужбине, никто не знает, куда ты пошел, куда свернул. Гангстеры, шпионы, разведка и прочая мура, которой тогда набита была моя голова. Я предложил Паустовскому проехать город на автобусе, потом вернуться пешком, сверяясь с планом. Паустовский отказался, сослался на усталость. Зной этого огромного дня истомил, с утра мы карабкались по сухому холму к Парфенону; камни, небо – все было раскалено, выжжено, залито беспощадным неподвижным солнцем.

Паустовский сказал, что лучше он посидит под зонтиком уличного кафе. Он и меня

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru пригласил, но я, выпив с ним оранжад, оставил его в непрочной тени кафе и ринулся в мраморную духовку города, в центр, оттуда в деловые кварталы, потом в район особняков, в толпу, в бульвары. Что за той аркой? А там, в переулке? К тому же я еще фотографировал. На автобусе до парка и обратно. Судя по плану, я обегал почти весь центр. Успел осмотреть все помеченное цифрами на карте. Я выложился в этом марафоне до отказа, как настоящий стайер.

Поздно вечером мы вернулись в Пиреи, на свой теплоход. Я был вымотан и доволен. Мы лежали на шезлонгах, и я рассказывал Константину Георгиевичу про Афины. То есть о том, сколько я исходил, обегал, о том, что я отщелкал три пленки, осмотрел почти все стоящее.

– А вы что успели? Где были? – спросил я.

– О, я так и просидел в этом кафе, – сказал Паустовский.

Было жаль его и было немного стыдно, что я, молодой, здоровый, расхвастался перед пожилым человеком, у которого не хватило сил носиться по городу. Он слушал меня внимательно, но как-то без обычного живого интереса.

Отплытие задерживалось. Вдали за пирсом сверкал люминесцентными лампами портовый кабак. Оттуда доносились музыка, шум. Там танцевали. Вышла рослая девка с тремя матросами. Двое были в беретах с помпонами, один в белой фуражке. Все трое стали драться, девица курила и ждала. Голубоватый, холодный свет в темной жаркой ночи делал зрелище театральным. Завыла полицейская машина. Полицейские в желтых рубашках выскочили, схватили двоих. Третий сидел, взявшись за голову. Девка исчезла. Представление кончилось. Побольше терпения – и мы могли дожидаться следующего действия.

Пока мы шли к Италии, Паустовский время от времени рассказывал: сперва про парочку, которая сидела в афинском кафе за соседним столиком, он – китаец, она – молоденькая мулатка, потом про монахов-доминиканцев, про драку афинских мальчишек и продавца губок, про борзую и терьера, которые жили напротив кафе во дворе мраморного особняка. Конца и края не было его рассказам. Там, в кафе, к нему подседа старушка, американская туристка, она была из Ростова-на-Дону, вдова пароходовладельца, в Америке она помогала Михаилу Чехову, а дети ее учились у Питирима Сорокина. И официант тоже знал русский и вступил в разговор с ними, он служил когда-то в Афонском монастыре.

Спустя месяц, дома, я проявлял пленки. То, что это Афины, я узнал только по буквам на вывесках. Больше всего меня поразил один памятник. Несколько раз я его отснял, с разных точек, но я совершенно не помнил этого памятника, ни площади, на которой он стоял. Судя по фотографиям, он был из белого мрамора. Фотографии были как чужие, сделанные кем-то, в незнакомом месте.

Перелистывая путеводитель, я наконец нашел, что это памятник Байрону. Сам я этого памятника не видел, снимал, а не видел, все внимание ушло на выбор освещения, экспозиции. И с остальными снимками обстояло почти так же. На фотобумаге появлялись незнакомые мне места, ворота, витрины. Ничто не откликалось этим снимкам, никаких воспоминаний. Были Афины или не были? Скорее, что не были, все слилось в потную беготню. Афины у меня остались прежде всего из рассказов Паустовского. Случай этот заставил усвоить совсем непростую истину: как много можно увидеть на одном месте. Путешествие не сводится к поглощению пространства. Нам кажется, что мы больше узнаем двигаясь, но о чужой стране можно многое узнать, просидев несколько часов в уличном кафе.

Урок был нагляден, но применил я его не сразу. Долго еще было – побольше стран. А в стране – объездить побольше городов. Побывать там и там. Количество. Верх брало хищное крикливое количество.

Спали мы на шлюпочной палубе, застланной толстой парусиной. Приволакивали из кают свои матрацы и подушки и ложились компаниями. Однажды с нами лег Константин Георгиевич. Ночью проходили Гибралтар. Паустовский нас разбудил. Его разбудил капитан. Белье было сырое. Близко была Африка, она дышала из черноты раскаленными берегами, и ветер временами доносил тропическую влажную духоту. «Чувствуете?!» – спрашивал Паустовский. Время от времени из рубки общую нашу постель медленно обшаривал прожектор. Паустовский показал нам огни Гибралтара, крепостные сооружения, освещенные слабым желтым светом, фигуры часовых. Сквозь

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
темноту Гибралтар возникал как увиденный, обозначенный словами Паустовского. Глуховатый, чуть надтреснутый голос его обводил контуры, стертые туманом, ночной жарой, а то и невниманием нашим. И по сей день Гибралтар висит в памяти, как картина, вместе с той ночью, тихим ходом корабля мимо близких огней, что-то сигнализирующих...

В Ватикане мы встретили монаха-словака. У Паустовского в дневнике это обозначено тремя словами: «Монах, миссионер, эрудиция». А было так. Мы стояли на площади у собора святого Петра после того, как папа сверху благословил толпу паломников. Люди начали расходиться. Нас изумляло их благоговейное, а то и восторженное чувство к старику, который показался в окне дворца. В те годы мы не могли понять религиозного состояния западного просвещенного человека здесь, в центре Европы. Католицизм был нам неведом. «Верующий» означало, как правило, «темный, малограмотный», это были одуроченные бабы, одинокие убогие старушки. Почему я говорю «мы»? Может, Паустовский, Рахманов, Катерли – люди старшего поколения – понимали религиозное чувство? Может быть, не знаю, но внешне разницы поколений здесь не чувствовалось. Епископов и кардиналов мы представляли главным образом из романов Стендаля, Дюма и из «Овода». Мы, во всяком случае, я и Серега Орлов, да и Расул, мы были невежественны, самоуверенны и все же смущены величием соборов, их красотой, толпами молящихся, нас поражали одухотворенные лица монахов в уличной толпе, францисканцы в коричневых власяницах, подпоясанных белыми веревками, стертая от поцелуев ступня мраморного святого Петра, которая торчала, как обломок кости.

Люди уходили, на их место слетались голуби. Мы стояли втроем: Паустовский, Рахманов и я. Услышав русскую речь, к нам подошел монах. Получилось так, что он подошел ко мне. Мы фотографировались по очереди, в это время фотографировали меня. Паустовский и Рахманов возились поодаль с аппаратом, монах обратился ко мне на хорошем русском языке: не туристы ли мы из Советского Союза, газеты писали, что в нашей группе есть несколько писателей. Не здесь ли они? Скорее всего, это был священник какого-то крупного сана, потому что, когда ветер отдувал полу его черной сутаны, она вспыхивала алым шелком подкладки.

Русская его чистая речь насторожила меня. И совпадение насторожило. Почему он обратился именно к нам, ко мне? А он улыбнулся, слабо так улыбнулся, своей удаче, счастливому случаю, который помог найти тех, кого надо, поскольку время не терпит, тяжело больная сестра русского поэта, имя которого нам должно быть известно, Вячеслава Иванова, она работала в библиотеке Ватикана. Иванов хотел передать свои архивы на родину. Об условиях нам может сообщить его сестра. Живет она тут, в Ватикане, в двух шагах, не соглашусь ли я зайти к ней?

Вот они, настигли нас те иезуиты, о которых столько предупреждали. Все, все было подозрительно, начиная с русского языка. Первое чувство, когда кто-то незнакомый заговаривал со мною на русском языке здесь, на Западе, была настороженность. Паустовский кивал мне, довольный тем, что возник такой любопытный кадр: я беседую с монахом. Они там, в десяти шагах, ни о чем не догадывались, и с моей стороны было бы бессовестно вмешивать их в эту опасную историю. Монах продолжал приглашать, не понимая, что мне мешает пойти с ним. У нас действительно оставалось еще около часа свободного времени. И что-то подкупало в открытом и печальном его лице. Я подумал: а вдруг все правда и надо бы пойти, – но тут же представил себе, как тяжелые ворота захлопнутся за нами, представил каменные подземелья Ватикана, лабиринты, стражу, темницы. Отчаянный, постыдный страх охватил меня. Кому я нужен в этом Ватикане, что с меня взять – об этом я не думал. Само собой полагалось, что каждый из нас – желанная добыча для иезуитов. Представить только, что мне было уже за тридцать, я прошел всю войну, имел высшее образование, считался рискованым человеком... Помню отчетливо, как у меня промелькнуло: хорошо, что Паустовский фотографирует, монаха этого удастся разыскать, обнаружить.

Я залепетал о том, что если бы раньше, сейчас уже нет времени, мы должны уезжать. Монах вздохнул, извинился, предложив записать адрес сестры, может, наши представители спишутся с ней...

Этот свободный час ушел на хождение по прилегающим улочкам. В лавочках, вывернутых наружу, продавали сувенирно-ватиканскую белиберду. Вот мы ее и рассматривали. Жестяные распытия, блюдечки, вийольки, рогульки, гляделки, четки, иконки... Я чувствовал себя отвратительно. На вонюе, под пулями, вроде бы не трусил, даже вызывался сам несколько раз в разведку. Паустовский с Рахмановым

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
меня утешали тем, что архивом этим никого у нас не заинтересуешь...

До этого случая я посмеивался над нашими спутниками, над их замечаниями, вкусами. Кто-то из наших туристов в Сикстинской капелле задал вопрос, от которого привычный ко всему гид пошатнулся: сколько весит Сикстинская капелла? Спросил, занеся свой карандашик над своим блокнотиком, куда аккуратно записывал квадратные метры росписи, количество фигур, сколько лет потрачено. Для полноты сведений ему нужен был и вес капеллы, ничего смешного! Мне всегда любопытно: какова судьба этих блокнотиков? Вполне возможно, что они-то и отбивали всякую охоту записывать.

По дороге на Капри к нам на парходике пристроились два старичка-неаполитанца. Старички слабенькими голосами запели «Прощай, Неаполь», «Скажите, девушки». Пели мило, мы похлопали, одарили их папиросами и значками. Папиросы вызвали удивление, в них видели жульническое – табак набит не полностью, до половины! Все было умилительно-приятно, под стать сладостному пейзажу с профилем Капри, как бы нарисованным детской рукой, пока старички не сообщили, что все неаполитанцы хорошие певцы и хорошие любовники. Они сказали это «все» отчасти из скромности, отчасти же желая повеселить наших дам. За что и получили отпор. Две девицы из Свердловска, которые до того весело им подпевали, выпрямились и твердо заявили неаполитанцам, что наши любовники лучше. Это звучало всерьез, как отпор, никто не посмел спросить, откуда это им известно. Старички притихли, не понимая, за что на них прикрикнули.

На теплоходе наладился быт, веселый корабельный быт с танцами, играми, знакомствами. Мешала только жара. Мы не вылезали из бассейна. Можно сказать и так, мы вылезали из бара, чтобы влезть в бассейн. Я осваивал в бассейне купленные в Италии лазурные ласты, маску и трубку. В те времена акваланговая оснастка выглядела диковинно. Я затратил на нее половину полученной валюты. Все меня бранили, кроме Паустовского, глаза его мечтательно туманились при виде амфибийных этих доспехов. Еще несколько лет среди купальщиков финского залива, Коктебеля мое снаряжение вызывало зависть. Поначалу, как пишет Паустовский, я чуть не утонул, приучаясь нырять. Утонуть в бассейне я не мог, но вызывал страх у сидящих вокруг. Женщины сидели в купальниках, изнемогая от жары. Жара выгоняла их из наготовленных в поездку нарядов. Втуне пропадало искусство портных, модные платья с роскошными отделками. Остались просто женщины в купальниках, старые и молодые, ничем не украшенные... Мы уходили в бар, пили коньяк. Расул Гамзатов был неистощим на тосты и на байки, он мог пить, не пьянея. Мы все могли тогда пить, несмотря на жару. Николай Павлович Акимов пристраивался сбоку и рисовал кого-нибудь. Некоторые портреты получались сразу. Меня он повел к себе в каюту и заставил специально позировать. Мой портрет не давался. Получалось нечто перекошенное, старообразное. Акимов злился на меня. Спустя двадцать лет в Союзе художников было открытие выставки картин Н.П.Акимова. Меня просили выступить на открытии. Я сказал, что мое поколение росло среди удивительных премьер акимовского театра. Про акимовские декорации, своеобразные, неожиданные, всегда узнаваемые. Настоящему таланту присуще быть узнаваемым, непохожим на других. Театральные афиши Акимова были уличной живописью Ленинграда. Потом я пошел по выставке, вспоминая юность, старые спектакли, на которые попадал, выпрашивая лишний билетик, узнавал портреты людей, которых давно нет, которые доживали при мне последние свои годы, а я-то думал, что они будут еще долго – Евгений Шварц, Юрий Тынянов, Николай Симонов, Ирина Зарубина, Михаил Лозинский... Среди графики я увидел свой портрет. Один из тех неудачных набросков. Я не сразу узнал себя, таким я был там красивым и счастливым. Все же Акимов что-то схватил – нетерпение, возбужденность того путешествия, когда я открывал для себя неведомые миры, то, что автомобили могут быть золотистые, карминовые, а не только черные, открывал Парфенон и оранжад, миллионеров, шлепающих босиком в Сорренто, и проституток, медленно едущих в открытых машинах, Лазурный грот и бананы. Я разглядывал рисунок, вспоминая, как я сидел у Николая Павловича, вспоминал его самого, острое лицо, едкий его язык, холодноватую иронию, которая и притягивала к себе, и отталкивала. Можно было порезаться. Слишком остро. Внешне Паустовский и Акимов были чем-то схожи. Небольшого роста, поджарые, смуглые, с индейским профилем. Но Паустовский не соответствовал своей внешности, он был мягок и терпелив, уютен и добр. В нем привлекала открытость, беззащитность.

»...Розыгрыш Гранина, радио мне от Симонова: «Прошу телеграфировать мнение французской общественности о последних стихах Грибачева». А было так. На радиорубке я договорился с радистом. Он написал на бланке текст от имени

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Симонова. К.М.Симонов был тогда редактором «Литературной газеты». Обычно перед обедом объявляли на весь теплотход, кому есть радиogramмы. Паустовский спустился в зал ресторана, размахивая зеленым бланком. Лицо его пылало от возмущения. «Что за чушь! Что они там думают, что в Париже строят баррикады? С какой стати я должен заниматься этими стихами? Смешно выяснять такие вещи. Не для этого я еду в Париж. Пусть не рассчитывают!» Он долго не мог успокоиться. «Симонов пользуется моим отношением к нему. Но это чересчур». Он хотел послать ответ Симонову. Пришлось сознаться в розыгрыше. Я сделал это не без смущения. Шути, да знай меру. Все же это был Паустовский. Надо было считаться с разницей лет и положений. И так, я повинился. Некоторое время Паустовский разглядывал меня молча, взгляд его, колючий, металлический, был не очень-то приятным, но вдруг он расхохотался. Непроизвольно. Хотел рассердиться, но, видно, представил себя, потрясающего зеленым бланком, и расхохотался. Собственная доверчивость веселила его. Надо же быть таким болваном, таким легковверным дурнем. Тонкие морщинки смеха смяли, смягчили его лицо. Он был в полном восторге и думать не думал обижаться.

Вот тогда-то меня и озадачили его необидчивость и готовность первым смеяться над собой. От этого он нисколько не проигрывал, становился ближе и дороже. А что, если писателю, да и любому художнику, самоирония помогает? Паустовский умел смеяться над собой охотнее, чем над другими. Он относился к себе без всякого почтения, не заводил разговоров о себе, о своих книгах, рецензиях, успехах – этих пыльных клубах славы, которые иной сам же и поднимает. У нас перед глазами маячил пример в лице одного известного публициста. Все путешествие он говорил только о себе. Остальные темы были ему скучны. О чем бы ни заходила речь – о вулканах, о Бискайском заливе, о врачах, – через несколько минут все приходило к нему, к его особе. Самоуменьшение – он не понимал, что это такое. Но ведь оно бывало. Мог же Чехов признаваться, что не понимает жизнь. Мог же он говорить Бунину: «Меня будут читать еще лет семь, не больше». Мог же наш великий историк С.М.Соловьев считать свою работу лишь расчисткой пути для тех, кто следом за ним должен написать историю России лучше него. Паустовский никогда всерьез не относился к своей писательской персоне и от этого только вырастал.

Как-то, живя в Дубултах, я отпечатал на машинке письмо, в котором работники молочного завода в Майори приглашали дорогого писателя К.Г.Паустовского на свой вечер, посвященный Международному женскому дню. В затею были посвящены соседи по столу Эм. Миндлин и Юра Казаков. Получив это письмо, Константин Георгиевич стал угваривать нас пойти вместе с ним. Мы согласились проводить его до клуба, где действительно должен был состояться вечер, висела афиша, из которой-то я и узнал про вечер. Мы проводили, но не ушли, остались ждать, готовясь к возвращению Паустовского. Миндлин несколько тревожился – бестактная шутка. Теперь и сам понимаю, а тогда отмахнулся: Паустовский на такие вещи не обижается. В ту весну в Дубултах мы с удовольствием разыгрывали друг друга, подшучивали, подсмеивались над собой. Что мы есть – трава среди деревьев. Это сравнение мне тогда очень нравилось. А что касается того вечера в Майори, то мы еще долго топтались под окнами освещенного клуба. Было холодно. Лужи покрывались хрустким льдом. Гремела музыка. Паустовского мы не дождались. Наутро, щуря глаза в неясной усмешке, он жалел нас: зря мы не зашли, сперва при его появлении произошло некоторое замешательство, но потом все обрадовались, и он провел чудесный вечер, а мы?..

Третий урок состоялся в Париже, в Лувре. Встречи с Парижем Паустовский ждал многие годы. Может быть, с юности. Он должен был увидеть Париж. В поезде из Гавра в Париж он сказал: «Подумать только – я мог умереть и не увидеть Парижа!» Из всех городов Запада русского человека почему-то более всего влечет Париж. Спустя три года после нашего путешествия Паустовский описал первое это свидание с Парижем в своем очерке «Мимолетный Париж». Тогда этот очерк мне понравился. Сегодня он читается плохо. Проступили банальности, болтливость. Книги стареют, как люди, становятся многословными, повторяют вещи общеизвестные, притом многозначительным тоном. Однако некоторые страницы очерка вдруг трогают нынешним чувством авторского восторга и умиления. Сентиментальность приторна, наивна, и все-таки она нужна человеку. Еще в первом прочтении меня удивляла память Паустовского, как много он увидел и запомнил, я был там же, смотрел то же самое и ничего этого не заметил. Целый рассказ у него про мальчика-лифтера, подробности нашего знакомства с Лидией Николаевной Дилекторской и ее сестрой, и то, как ехали к ней, в ее квартиру, и сама квартирка, увешанная картинами Матисса, и то, как мы ходили на Центральный рынок и что там было. Поразительно интересно, когда другой описывает то, что вместе видели, делали, пережили. Порою многое раздражает – и то было не так, и это. У Паустовского тоже не так, но у

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
него не потому, что не так, а потому, что он больше увидел и домыслил. Увиденное для него лишь начало. Оно – завязка. В нашей маленькой гостинице в Париже он сделал весь ее персонал бывшими циркачами, стулья в рестораничке расшатанными оттого, что на них делал стойки администратор – бывший акробат. Ничего подобного не было. Но могло быть, могло, потому что наша хозяйка была циркачкой. Одна она, и этого достаточно.

Про Лувр в этом очерке почти ничего нет. И в «Европейском дневнике» две короткие строчки. О самом сокровенном, личном он избегал писать. Оставлял для себя. Нельзя все для печати. Перед поездкой в Лувр Паустовский предложил нам троим – Рахманову, Орлову и мне – ограничиться минимумом. Не бегать с толпой экскурсантов из зала в зал, не пытаться осмотреть даже лучшее. Константин Георгиевич живо представил нам в подробностях: тысячи картин, и все знаменитые – Рембрандта и Веласкеса, школы всех веков, анфилады, переходы, этажи, разноязычные голоса гидов...

– А мы посмотрим только Нику Самофракийскую, Венеру Милосскую и Джоконду. Проведем у каждой полчаса и уйдем.

К тому времени нас уже слегка подташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных скульптур, памятников, фресок, картин, гравюр, росписей. Все слиплось в сырой ком. План Паустовского понравился своей решительностью и простотой.

Ника, безголовая, безрукая, была непонятна. Фантазии моей не хватало представить ее в целости. Красота ее тела, что светилось сквозь каменные складки прозрачной туники, не действовала на меня без головы, без лица. Красоты одного тела оказалось мало. Скульптура передавала подвижность тела, воздушность ткани так искусно, как ныне не могут. Если древние умели такое, можно ли говорить о прогрессе в искусстве? Двигается ли искусство куда-нибудь? На галерный корабль такую фигуру ставили, на парусник – понятно, а на межпланетный она не пойдет, другую надо придумывать. Вот примерно куда меня завело, когда я разглядывал Нику. Чувств удивления и интереса надолго не хватило, зароились разные мысли. Мы продолжали стоять перед нею. Я украдкой взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут. Не так-то просто истратить полчаса на одну вещь. Никогда я такого не делал. Смотреть, а чего в ней еще смотреть, все уже ясно. Изучать? Опять же – чего? Если бы я был искусствоведом... А уж переживать – тем более невозможно так долго. Непростое это оказалось дело. Куда легче двигаться, идти мимо разных полотен, гулять по музею, остановиться у какой-нибудь исторической сцены, полюбоваться красоткой, можно пейзажем. Прочитаешь подпись «Тициан» – ага, значит, надо еще раз взглянуть, присмотреться, вроде и в самом деле гениально.

Постояв еще немного, мы двинулись к Венере.

Как всякий, я навидался ее изображений. Теперь я стоял перед подлинником. Я знал, что должен волноваться. Кто только не стоял на этом месте, перед этим совершенным мрамором! Великие, известные, в сущности все просвещенные люди, что жили в Париже, и те, кто приезжал в Париж, все русские интеллигенты, все художники Европы, ее поэты, ученые, ее правители, – все считали необходимым являться сюда, к этой женщине. И вот теперь и я сподобился. И я смогу сказать, что видел Венеру Милосскую. Это было как вершина для альпиниста, отметка для получения разряда. Передо мною было воплощение женственности, общепризнанная мера красоты, гармонии, проверенная столетиями. Вспомнил очерк Глеба Успенского «Выпрямил». В самом деле, если бы можно было сосчитать, скольким людям помогла эта красота устоять, скольким вернула покой, силу, чувство любви к жизни, восхищения человеком?.. С Венерой, следовательно, разобрался, вникнул. А вот Джоконда...

Не хочу рассказывать о первом чувстве разочарования перед Джокондой, не это важно. О картине я писать не собираюсь, и о своих мыслях тоже. Что-то было вначале, а потом пропало. Никаких мыслей не стало, а был уход, я не заметил, как стал уходить в картину, погружаться в нее. И она уходила в меня. Так бывает, когда долго стоишь перед морем. Или лежишь, глядя в небо. За четверть века то чувство давно стерлось, осталось от него воспоминание того, как стоял я без мыслей, забыв о времени. Через несколько лет, снова будучи в Лувре, я к Джоконде не подошел и больше не подойду. Очнулся я, увидев, что Паустовский плачет, и показалось это естественным. Мы вышли из Лувра, ни на что более не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго сидели молча.

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Выходило, что одна картина может дать больше, чем целая галерея, если эту картину удастся пережить. Выходило, что у картины можно простоять и полчаса, и больше. Одна картина, одна книга... Пусть не одна, пусть немного.

Недавно, будучи в Хельсинки, я увидел памятник Сибелиусу. Он стоит в парке. Я сел на скамейку и просидел перед ним долго, вволю. На скальном камне, на столбах подняты были трубы, пучок труб, нечто вроде органа. Трубы были разными, каждая повреждена по-своему – пробита как бы пулеметной очередью, разворочена, треснута, разрезана. Темный неясный смысл был в этих ранах, никак было не добраться до него. Орган пел. Ветер с озера исполнял свою музыку в исковерканных трубах. Звуки шли чистые, тихие. Сбоку, на гранитном отрубе, поблескивал стальной барельеф Сибелиуса. Был он отлит из той же стали, что и трубы вознесенного над нами органа. Портрет Сибелиуса показался необязательным. Не все ли равно, какая внешность была у композитора. Важна была его музыка, в которой есть эти озера, камни, сосны бедной северной природы, скупые ее краски, финны, сидящие в парке на тяжелых деревянных скамьях. Музыка создает внутренний образ автора.

Дул ветер, а вода озера лежала неподвижно, как стальной лист. Давно я не вспоминал Паустовского, хотя жил, пользуясь кое-чем из его уроков, – сидел в этом парке перед памятником потому, что когда-то стоял с ним в Лувре.

Читая скупые фразы «Европейского дневника», слишком скупые, так что теперь многого не раскрыть, не понять, я убеждался, что эта скупость уберегла дневник от старения. Дневник выгодно отличается от сделанных о поездке очерков. В нем идет непрестанная работа чувствования, стремление понять увиденное. В течение всего пути. «Вышли в Эгейское море. Лиловая шелковая вода. Шествие великих и древних островов. Лесбос. Колыбель человечества».

Замечали вы, что дневники вообще отличаются завидным долголетием?! Они не так быстро портятся. В них меньше литературщины, украшательства, крема. Дневник – он все же для себя. Даже лукавая и хитрая и надеясь, что потомки станут вникать, все равно много тут «длясебятины», без расчета на читателя, без моды, без влияний. Паустовский записывал кратко, но аккуратно, почти ничего не упуская. Он вел записи, как судовой журнал. Прочитав дневник Паустовского, я стал спрашивать у всех, кто жив, у наследников тех, кто умер, – оказалось, никаких дневников или обстоятельных записей не осталось. Так, отдельные заметки. Писателей было человек десять. Почему мы ничего не записывали? Почему мы не считали себя обязанными? Почему не было у нас профессиональной потребности? Один Паустовский чувствовал себя путешественником, открывателем, землепроходцем. Это сегодня поездкой во Францию никого не удивишь. В 1956 году Паустовский ехал в Европу, как к инопланетянам. Европейские следы Бабеля, Маяковского, Пастернака были занесены, перепаханы войной.

В очерке о Неаполе «Толпа на набережной» Паустовский ведет рассказ, будто он приехал в Неаполь сам по себе. Нас там нет. Все приключается с ним одним, одиноким путешественником. В поездке с нами он втайне совершал и другое путешествие – без нас. Как бы самостоятельно, без огромной толпы туристов с автобусами, старостами, перекличкой. Как бы сам останавливался в отелях, знакомился, попадал в истории, не торопясь наблюдал чужую жизнь. Он путешествовал больше, чем ездил. Его любимцем был Миклухо-Маклай – «человек, обязанный путешествиям силой и обаянием своей личности». Он любил вспоминать Пржевальского, Нансена, Лазарева, Дарвина.

Большей частью мы становимся писателями, когда садимся за письменный стол, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется». Паустовский пребывал писателем и не работая. Он жил по-писательски, вел себя по-писательски...

Однажды, когда мы с Паустовским стояли у борта, на дрожащем от зноя горизонте океана показался пароход. Медленно выростал из обреза воды нам навстречу. Паустовский разглядывал его в бинокль, судя по очертаниям, сказал он, это французский торговый пароход «Аякс». Построен еще перед первой мировой войной для перевозки вин и фруктов. Первым капитаном на нем был потомок Бенигсена, Альберт Бенигсен. И дальше Паустовский рассказал удивительную историю про то, как «Аякс», застигнутый штормом, искал убежища на африканском берегу в маленькой закрытой бухте, где обозначено было какое-то подобие порта. Однако пирсы оказались почему-то пустыми, в поселке не было видно ни души. Зной и безлюдная тишина царили на берегу. Пароход причалил, подал несколько гудков, в ответ

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
послышался рев. На дощатый пирс вышел лев, за ним другой. Львы подошли ближе к чугунным кнехтам, не боясь ни парохода, ни людей, и ревели, но как-то странно – хрипло, прерывисто. За ними стали выходить львицы, молодые львы, львята, они заполнили весь пирс, берег. Они ложились и смотрели на пароход. Их набралось около сотни. Команда взялась за ружья, но Бенигсен не разрешил стрелять. Он внимательно разглядывал это невиданное скопление львов, затем приказал налить ведра воды, спустился с ними по сходням и поставил ведра перед львами. Его не тронули. Первый лев подошел, лизнул воду, потом стал не лакать, а втягивать ее. Они подходили один за другим. Бенигсен велел наполнить питьевой водой большой бак, что стоял на камбузе. Его снесли на берег и туда ведрами подливали воду. Львы толпились, как овцы. Они терлись боками о ноги матросов. Львам отдали почти весь запас пресной воды. Когда «Аякс» пришел в Пиреи, в цистернах не оставалось ни литра воды, команде выдавали вино. В Сицилии Бенигсен узнал о страшной засухе, поразившей Алжир.

Пароход меж тем приблизился. Без бинокля можно было рассмотреть на нем флаг с голубым крестом. Это был новенький финский лесовоз. Он прошел от нас неподалеку, и я удержался, – господи, как я благодарен судьбе или как там оно называется, что удержало мою не знающую снисхождения литературную молодость от насмешки, от того, чтобы уличить, ткнуть пальцем. Я был слишком привержен реализму, я не знал, что делать с этой сентиментальной историей, придуманной на ходу, а может, переиначенной из какого-то его рассказа; не сразу я оценил прелесть сочинительства, игры воображения и выдумки. Что ему до этого финского лесовоза, он его не заметил, в упор не видел, его «Аякс» плыл всегда вдаль, по лезвию горизонта, флаг был неразличим. Не ближе к жизни, а подальше. Паустовский знал жизнь, знал неплохо, но ему надо было отдалиться, чтобы черты ее не резали глаза; поодаль она теряла ту обязательность, когда останется лишь обводить увиденное. Если ему удавалось найти нужную дистанцию, можно было дорисовать свое, воображаемое. Жизнь давала толчок. Чуть в сторону, вбок. Его влекло необычное. Он умел высматривать среди монотонных будней что-то несостоявшееся. Это был нелегкий труд, жизнь старалась обернуться деловой трезвостью, служебными заботами. Вблизи жизнь угнетала, не допускала отклонений.

В Неаполе мы попали на карнавал. Маски кружились, танцевали, пели. Длинная набережная переливалась огнями иллюминаций, огромные картины были сделаны из неоновых ламп. На них катились экипажи, кони перебирали ногами, кавалер опускался на колено перед дамой, распускались кусты роз, юноша целовал красотку, она взмахивала рукой, и огненные птицы поднимались в небо. А в толпе черт с горящими рогами поднимал маску, и под ней оказывалась хохочущая девчонка.

Паустовский восхищался вместе с нами, но что-то смущало его, как будто он попал в один из рассказов Александра Грина. Как бы это выразиться... Такие вещи несовместимы: реальность и романтика. Либо – либо, одно убивает другое: «...и тут же распыть, где горят, как кровь, вишневые лампочки». И тут же рядом из лампочек рекламное изображение нового телефонного аппарата.

Акимов сказал нам о Евгении Шварце, что первое действие в его пьесах превосходно, а второго нет, не знает, чем кончить. Наблюдение это показалось справедливым, но Паустовский промолчал. Он сочувствовал не Акимову, а Шварцу. Необходимость выстраивать сюжет его угнетала. В этом было что-то от заигрывания с читателем. Если бы можно было писать без сюжетов, как бы ни о чем. Ни о чем – это был для него идеал прозы. Интересное начало, оно у Шварца само по себе драгоценность.

Время от времени в романтике начинают нуждаться. Паустовского то покидают, то возвращаются к нему. У него свое отдельное место, его можно узнать сразу, по нескольким строчкам. Писать под него – несложно. Труднее воспринимать мир, как он, с удивлением и восторгом, увидеть окружающее блистающим и странным.

Под деликатностью милого доброго сочинителя между тем таились твердость, бескомпромиссность и спокойное бесстрашие. Мы испытали это в Болгарии, в Варне – первой нашей за границей. Впервые мы ступили на чужую землю. Было воскресенье. Десять автобусов ожидали нас в порту. Нас повезли по достопримечательностям, потом отпустили гулять по главной улице Варны. Движение было закрыто, и мы двигались вместе с толпой курортников, горожан. Не помню, то ли Сергей Орлов уведомил кого-то из своих болгарских однокашников по Литературному институту, то ли случайно повстречались в Варне. Помню лишь, как мы уселись в парке большой компанией. Молодые болгарские поэты, писатели, друзья Сереги. Ходили по рукам

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
бутылки «Плиски», ракии. Читали стихи, нам пели болгарские песни. Были там, кажется, Джагаров, Блага Димитрова; очнулись мы, когда кто-то посмотрел на часы. Пять часов, то есть «время отплытия „Победы“». Мы бежали в порт, как, наверное, уже никогда после не бегали, за нами неслись болгары с бутылками. Белоснежная громада теплохода еще стояла на месте. Но трап был уже поднят. Туристы толпились на всех палубах и, когда мы показались, закричали: „Вот они!“

Запыхавшись, мы остановились перед уходящей ввысь стеной борта, крохотные, приниженные. Стальная, холодная, она неприступно нависла над нами. Некоторое время нас выдерживали, как бы не замечая, потом спустили веревочную лестницу. Болгары, видно, не очень-то понимали, что нас ждет, они считали, что все обошлось, теплоход не ушел, это главное, и совали нам в карманы бутылки. Лестница раскачивалась. Я плохо переношу высоту, а у Сереги рука с войны была изувечена, да и сноровки у нас не было. Мы взбирались с трудом. Как я теперь понимаю, мы вполне могли гробануться. В трезвом виде мы наверняка не осилили бы этой цирковой лестницы. Это было свинство, мы лезли и матерились, только злость помогла нам. Когда перевалились на борт, мы уже не чувствовали себя виноватыми. Шли сквозь строй, на нас смотрели с осуждением, были и со злорадством – сейчас вам, голубчики, выдадут! – и с возмущением – что позволяют себе! У нас отобрали паспорта, велели привести себя в порядок и ждать вызова в такую-то каюту. Мы отправились в бар.

Теплоход стоял еще около часа. Нас хотели списать на берег. Паустовского вызвали к начальству и попросили, как старейшего, подписать от имени писателей просьбу отправить нас назад поездом за нарушение дисциплины. Паустовский благодушно развел руками: «Что случилось? Ничего не случилось. Подумаешь, делов, – сказал он. – Разве у нас воинская часть? У нас, по-моему, туристская поездка. Мы едем смотреть. Мальчики засмотрелись».

Неизвестно, что он там еще говорил, но теплоход отчалил. После ужина нас позвали в такую-то каюту, там сидели начальники, в центре плечистый атлет, расчесанный на пробор. Он коротко допросил нас: с кем мы выпивали, где, – затем постучал пальцем по столу, как бы давая сигнал, и нас стали воспитывать. Никто не позволит строить тут из себя богему. Нам доверили, нас выделили, и в первом же порту мы подвели всех, это не просто нарушение, такие, как мы, способны.. Ну ничего, даром нам не пройдет. Чем они только нам не грозили и здесь, и по приезде домой. Больше мы не сойдем, ни в одном порту нас не выпустят. За границы нам не видать. Будем куковать на теплоходе.

– Послушай, – сказал Серега тому атлету. – Ты где был на войне?

Был он, оказывается, в Москве, а потом в Куйбышеве.

– А мы на фронте были. Танкистами были, – пояснил Серега. – Чего ж ты нас пугаешь, дяденька?

Придя с войны, мы делили всех мужиков на фронтовых и тыловых. Никаких оправданий мы не признавали, все было просто. Своими были только те, кто стрелял. Поначалу мы брэнчали орденами, медалями, но нас быстро окоротили, здесь тоже награждали за дело. В моем КБ те, кто не пошел в ополчение, стали там, за Уралом, пока мы воевали, шишками. Послушать их, так они натерпелись больше нашего. И те, кто шивался в штабах, редакциях, и химики, и ремонтники, и боепиты – у всех имелись заслуги, все были причастны. Может, и были, но мы перестали носить даже колодки. Единственное, что отличало фронтовых, – это нашивки за ранения, но их на пиджак не присобачишь. Так постепенно все размазалось не разбери-поймешь. День Победы и то нельзя было как следует отметить, поскольку он оставался рабочим днем. Это мы, конечно, перешагивали. День Победы был наш, с утра по проспектам катили тележки инвалидов, гремели костыли, по всем шалманам, забегаловкам, пивнухам пели, пили, гуляли. По-прежнему никто не выставлялся своими наградами. Фронтовик узнавал фронтовика и без того, не отмерло еще чутье, нюх собачий на окопно-орудийно-танковую шатию. Вспоминали, узнавали, кто, где, как устроился. Многие – не очень. Фронтовик, ну и что с того, что фронтовик! Чего права качаешь?! Но выпадали моменты, когда фронтовое наше происхождение давало себя знать.

Часы, проведенные в Варне, были прекрасны, и плевать мы хотели на все дальнейшие за границы. Пропадите вы с вашей Европой, с выходом на берег, с вашими запретами. Чем плохо сидеть в баре, плыть по океану, смотреть на порты и причалы, да о чем

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
речь, счастье, что мы вообще живы, войну прошли и с тех пор одиннадцать лет живем! Мы отправились на палубу и запели под руководством Сергея Орлова: «Всю Европу за три перекура...» Была такая солдатская песня последнего года войны. Море нам было по колено и черт не брат. Константин Георгиевич уверен был, что все обойдется. Все и обошлось. «Раз вас не волнует, то и у них интереса не будет», – примерно так говорил он. Мы угощали его ракией, он учил нас жить. «Данила, уходить от женщины нужно так, – говорил он, мне, – чтобы не заставлять ее страдать». «А от жены, – продолжал он, – взяв с собою только машинку и рукопись, ничего более».

При всей своей мягкости и доброте он мог быть непреклонным. Когда «Известия» напечатали статью, где разносилась книга Паустовского «Далекое годы», Константин Георгиевич написал опровержение. Газета опровержение не напечатала, но вскоре главный редактор, человек по тем временам влиятельный, позвонил Паустовскому и принес извинения, поскольку «факты в статье не совсем подтвердились». Что-то в этом роде. Паустовский ответил ему сухо: «Вы оскорбляете публично, а извиняетесь лично. Я не принимаю ваших извинений». И повесил трубку.

«Олеандры – деревья. Слова Гранина о чужой красоте». Что это были за слова, не помню, может, умное чего сказал, и пропало. Обидно. Хорошо было Гете, за ним Эккерман ходил, записывал. От этого ему, может, и думалось лучше, мысли появлялись. А тут в кои веки произнесешь – и сам не запишешь, и другие не подберут. Раздумья, досаду, печаль вызвала эта запись. Потери, потери... Например, про ужин в стокгольмской ратуше: «Речь Акимова». Ничего не расшифровано. Смутно что-то нащупывается – была какая-то речь, резкая, парадоксальная, мы ее потом долго обсуждали, но, сколько ни тереблю память, ничего не вытрясти. Разве что появился Николай Павлович Акимов на площади перед ратушей. Черный берет придавал ему вид европейский, в уличной толпе он не выделялся ни в Италии, ни в Швеции, артистическая натура его и природная элегантность помогали. Мы же сразу обращали на себя внимание. Прежде всего шириной брюк. Дома костюмы наши считались модными, здесь же на каждом шагу-ощущали ширину штанин, они развевались, как черные паруса. Большой частью костюмы наши были черных и синих тонов. Кругом мужики сухонькие, в легоньких продуваемых костюмчиках, одеты, в сущности, кое-как, мы же – как чугунные, плечи – во, затянuty в галстуки, застегнуты на все пуговицы, брючины полощутся, и стараемся ходить толпой. Сами жались друг к другу – то не стыд, что вместе. А с брюками куда деваться – в гостинице не сузишь. Женщины наши в своем обмундировании маялись еще пуще, они на моды чувствительнее. Нас узнавали повсюду. Безошибочно. В парижском метро к нам с Сергеем Орловым подошли двое, муж и жена, и сразу: «Здравствуйте!» Эмигранты. А мы ведь стояли молча. Казалось, ничем не выделяемся. В бобочках, без пиджаков, у Сереги борода рыжая – скорее, похож на норвежского моряка. А они – здравствуйте!

Было в этом узнавании и приятное – неожиданные знакомства. В Сорренто окружили нас бывшие итальянские партизаны, показывали свои военные фотографии... Но много лет еще, когда брюки наши уже достигли общепринятой узости, плащи укоротились, исчезли шляпы зеленого велюра, нас каким-то образом продолжали узнавать. И в Японии, и в Финляндии, и в Сиднее. Только в последнее время это прекратилось. Может, потому, что мы перестали на это обращать внимание, и многие поняли, что можно пренебрегать модой.

Кое-чем мы и тогда пренебрегали. С трудом. Гипс вроде сняли, а суставы не могли сгибаться. Разрабатывать надо было.

«Гид, бывшая русская, старуха в перчатках, всем недовольная».

Сразу вспомнил ее усохшую плоскую фигуру, так и вижу эту стерву, всю от висючих кудряшек, словно из пакли, до высоких нитяных перчаток, забинтованную, запакованную... Водила она нас по Помпее, а в термы не пустила. Хотя положено было по программе. Нравственность нашу блюла – там, мол, неприличные картинки, похабщина никому не нужна. Ей, этой мымре, может, и ненужная, а нам в самый раз. Молодость наша, и без того обгрызанная войной, была урезана строгостью школьных запретов, институтских общежитии, где армия комендантов всю энергию устремляла на то, чтобы никто ни с кем, никто ни к кому.

И вот здесь, в Помпее, за тысячи верст от родимых ханжей, старорежимная эта белогвардейка лишала нас нашей законной программы, называла порнографией картины, сделанные две тысячи лет назад. Почему порнография? Для древних это было высокое искусство любви, культ любви с богатством ее радостей... Мы защищали

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
древних этих мужиков лучшими словами, для нее же они были заодно с нынешними итальянцами – распутники, провонявшие чесноком. Брезгливо поджав губы, она стояла на своем, непреклонно, истово. Конечно, мы сами пошли в термы. Наше, положенное – отдай! Отправились под шипение туристских дам: «Что о вас подумают! Какие интересы вы демонстрируете!»

«Гаага... Одинаковые домики, букеты цветов, колючий кустарник. С Акимовым по сумрачной улице. Велосипедисты с собаками в корзинах. Собаки лают на встречных».

Если бы так просто, без комментариев, записывать увиденное. Не вмешиваясь. Придерживая свои суждения. «Вереница нарядных машин. Золотой ресторан. Из Хемингуэя. Лакеи во фраках красивые, как Оскар Уайльд. Ужин без хлеба. Просьба хлеба вызвала смятение». Здесь лишнее: «Из Хемингуэя». Тем более что Хемингуэй терпеть не мог шикарных ресторанов. Остальное безукоризненно. И ведь так каждый из нас мог, по-своему, но так.

«Гранин купил фарфоровую мельницу, она играет „Ах, майн либер Августин!“ Он обескуражен».

Интересно, чем это я был обескуражен? И вообще тут неточно. Мельница была деревянная. Мельница была прелестная, внутри у нее заигралась лампочка, крылья вертелись, она в точности была похожа на ту мельницу у Дельфта, посреди багрово-золотистых полей левкоев, тюльпанов и роз. Мельница была дорогой. Опять над моей покупкой недоумевали. Впрочем, никто покупками не был доволен – кофточки плохо сидели, цвет не тот, туфли жали. А у Паустовского, если на то пошло, вообще произошел казус.

В Амстердаме нас привезли в универмаг. На сорок пять минут. Универмаг был огромен. Центральный зал, как театр, высокий, с ярусами галерей. Я не успел подняться, я застрял в отделе игрушек, сувениров, среди детских и взрослых развлечений. Неподалеку от меня, в этом же отделе, копались Елена Катерли и Паустовский. Как всегда, Паустовского тянуло к гербам городов и флагам. Катерли, кажется, уже что-то успела купить по делу, женщина в любых магазинах расторопна и быстро ориентируется. Паустовский же зарылся в автоматах, луках со стрелами, парусниках, бумерангах.

Мельница нравилась мне тем, что была игрушкой для детей и взрослых. Я купил ее не колеблясь. Продавщица показывала Паустовскому вертолет. Желто-зеленый. Тогда они назывались вертолеты. Пружинный завод действовал долго, чуть ли не пять минут. Вертолет был прекрасен. Паустовский решил купить его. Для Алеши или для Гали. Скорее всего, для себя. Всегда мы выбираем игрушки, в которые бы играли сами. Я взглянул на часы, пора было выбираться к автобусу. Катерли уговаривала Паустовского не брать вертолет, он был слишком дорогой. «Что вы купили, Данила?» – спросил Паустовский. Я показал ему мельницу. Мы вынули ее из коробки, она заиграла. «Видите!» – торжественно сказал он Катерли и заплатил в кассу. Продавщица хотела упаковать вертолет, но в последнюю минуту Паустовский решил проверить его полет. Мы отошли, завели его, винт завертелся, набирая обороты, и Паустовский подбросил игрушку вверх. Машина медленно стала набирать высоту. Жужжа, она поднималась все выше, запрокинув головы, мы зачарованно следили за желто-зеленой птичкой. Мы еще не осознали, что произошло. Издали нас окликнул староста, нас ждали. Вертолет неторопливо плыл где-то на высоте второго яруса, потом, так же не торопясь, почему-то стал удаляться в глубь галереи. «Воздушное течение», – удивленно сказал Паустовский и помахал ему вслед. Я порывался бежать наверх, искать вертолет, но Паустовский взял меня под руку и повел к автобусам. Продавщица что-то кричала нам вслед. Возможно, она просила подождать, а может, она хотела позвонить наверх, она не знала, что мы должны уезжать. Паустовский и ей помахал рукой.

В автобусе Паустовский сидел молча, глядя куда-то поверх голов, мечтательная улыбка не покидала его лица. Мы с Катерли хохотали. Почему-то никто из нас не испытывал ни сожаления от потери, ни сочувствия. Каким-то образом нам передалось ощущение Паустовского, и происшествие это превратилось в сказочную веселую историю. Она летела над нами до Северного моря, где на бакенах звенели колокола... То был тоже урок, один из самых трудных уроков. До конца так и не усвоенный, имелся еще какой-то секрет, которого я так и не постиг. Нет-нет да я и огорчаюсь, теряя какие-то вещи, упуская из рук возможности, они улетают, а я досаую на себя и не умею видеть в этом волшебную игру судьбы.

Мельница сохранилась. И дочь, а затем внук почему-то ее пощадили. Правда, лампочка не горит, ключ утерян, заводить ее нельзя, краска стерлась, но если пальцем вертеть крылья, то кое-как, хрипя, дребезжа, она выводит: «Ах, майн

Чужой дневник. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
либер Августин». Никто, кроме меня, этой мелодии не различает.

1982

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!